Карина Шебелян

**Рассеянный свет**

Монопьеса

*Действующие лица – Анна, 32 года. Обучена грамоте, всю жизнь прожила как крепостная, получила волю и теперь собирается в путь. Действие происходит в 1862 году.*

АННА. Сколько буду идти к тебе, ехать, того не знаю. Может год, может и того больше. Россия наша большая. Столько в ней всего таится, столько спрятано-перепрятано, столько горя пролито. Но и радость где-то ведь есть. Верно? Должна быть. Не видна только по первому взгляду. Прячется от меня, как земляника под листом. Должна я ее отыскать. Иначе как жить на свете? Прежде ведь была она со мною, Феденька. И с тобою тоже. Широкая, звонкая. И плескались мы в ней, как в водице дети малые. Помню, бывало приведет нас мамка на реку. В тени где оставит, а сама в поле на целый день. Те из нас, ребятишек, кто постарше были – Маруся, Коленька, Никита, Алеша – поначалу с нами оставались. Забавы нам придумывали да сами играли. Ты не сердись на меня, Феденька, давно ведь это было. Но тогда больше всех я любила брата Алешу и сестренку Марусю. Уж как они со мной нянчились, как веселили. И не передать. То в солому меня нарядят чучелом каким, то сами сажей перемажутся и давай зверей изображать страшных. Рычали, выли, а мы, маленькие, криком кричали, только ведь не со страху, а так. От того, что весело, что все мы вместе и нам хорошо. Мамка придет кормить нас, увидит, что все чумазые, заругает, а то и приложит кого тряпкой или еще чем. Рука у нее была тяжелая. Мне тоже попадало, и не раз от нее. Но я знаю, любила она нас больше всего на свете. Только вот времени на нас совсем у нее не оставалось. Да и сил. Работали они с отцом с утра до ночи. То в поле, то во дворе, то в город пошлют, то на заработки. Сложно было. При мне они между собой и парой слов не перемолвились, не помню я такого. Мамка молчунья была, все в себе держала. Никогда сторонний не поймет, что у нее на уме. Ну а мы-то все понимали, конечно. Чего и понимать-то? Жизнь крепостная, и все тут. Отец ее побивал, чего уж скрывать. Не любил он ее, а только жил да и все. Отец наш не злой человек был, нет. Он как будто не знал, куда себя девать, когда ничем был не занят. Ведь что бы он ни придумал, о чем бы ни мечтал, все не разрешалось. Дважды он сбегал. И это только на моей памяти, может и больше. И всякий раз ловили его, приволакивали обратно. Били нещадно, чуть не до костей спину разбивали. Как-то он лежал весь больной, хрипел все стонал, никому покоя от него не было. Подозвал меня и говорит: «Анюта, поди, глянь в окошко да расскажи, что там, на свете делается». Я пошла, смотрю. На дворе осень. Деревья голые. Грязь. Тучи совсем низко висят, того гляди на голову свалятся. Все вокруг пелена какая-то обволакивает. Свет тусклый. Где солнце, не поймешь. Словно и нет его вовсе, а свет сам по себе. Рассеян по земле-матушке ровным слоем. Ни теней, ни отблесков. Будто мир настоящий за этим всем спрятан, а из окна видно только картинку нарисованную. Потрешь стеклышко, и все исчезнет. Пересказываю я все это, а отец не отвечает. Обидно стало, ведь сам просил. Оборачиваюсь, а он застыл. Не шевелится. Тоже стал, как ненастоящий. И подумалось мне тогда, что это он специально заставил меня в окно глядеть, чтобы самому сбежать незаметно. Уже насовсем.

Мамка ни слезинки не пролила. Говорила, что на том свете воля. А раз так, чего горевать? Радоваться надо. Работу отца пришлось страшим на себя взять. Маруся и Алеша уже давно с нами не играли, как раньше. Алешу к работе стали привлекать лет с пяти. А в восемь он уже сам стал как маленький мужичок, хмурый и вечно уставший. Вся радость и детские шалости из него вышли, а на их место ничего не пришло. Пустой стал Алеша, как высохший колодец. А однажды руку правую у него зажало, когда он в кузне помогал, да так, что отнялась она у него совсем. Стала как плетка висеть. С тех пор он совсем сердитый стал. Не подойдешь. На мамку кричать стал, на нас. А все от бессилья, от несправедливости, помехой сам себя считать стал. Отогнал всех от себя, сам по себе стал жить, в сарай на дворе перебрался. Там и помер. Маруся тоже померла от хвори какой-то. За ней Коленька ушел и Никита тоже. Мамка родила нас одиннадцать человек. Шутка ли. А до взрослого возраста четверо дожили: я, ты, Семен да Матвей. Каждый год мамка кого-то хоронила. И будто бы проводы покойников стали обязательной частью нашей жизни, от которой не убежишь, не отменишь. Когда был жив отец, мамка все время была на сносях. Одна противостояла смерти, выпуская новую и новую жизнь в этот мир. Но жизнь эта все равно ускользала, уходила в землю, рассеивалась по миру. И когда иссякла эта ее сила роженицы, когда смерть с каждым годом начала брать все больше и больше, мамка сдалась. Высохла, сжалась вся, пожелтела за полгода. И ушла.

Ты ведь младше меня, Феденька, на четыре годочка, наверное, родителей и не помнишь совсем. Хорошие они были, каждый по-своему. Работящие. Когда тебе три было, а мне, значит, уже семь, хозяйка наша Наталья Сергеевна в долги влезла. Женщина она была бестолковая. Вдова. Ничего в хозяйстве не понимала. Жила на широкую ногу, вечно за границей или в столице. Только приказчик ее в имении жил. Важничал, хвост распускал, будто бы его это все. А все знали, что себе в карман кладет прибыль от имения, а хозяйке докладывает, что работники плохие, ленивые. Мол, сечь их надо, чтобы уму-разуму научить и работать начали. Злой был человек, бездушный. От него все выли, но сделать ничего не могли. Хозяйке он больно нравился. То ли манерами своими заграничными, то ли льстивыми речами. Но все думали поначалу, что все зло в имении от него идет. Собрались как-то несколько мужиков, отправились на заработки да нашли возможность хозяйке передать сообщение. Что, мол, в имении происходят бесчинства, наказания ни за что. Думали, справедливость найдут. Но не тут-то было, Феденька. Наталья Сергеевна и слушать не стала, только обозлилась, что ее потревожили из-за чепухи. Решила, что крестьянам ее слишком вольготно живется, ведь она их и не видит, не трогает. Должны они довольными быть, радоваться, а они с возмущениями полезли. Как так? Словом, плохая это была затея. Среди тех мужиков, кто нашел хозяйку нашу в столице, были братья наши Семен с Матвеем. Вначале высекли их, дело привычное. За ослушание, за самовольство. А потом и вовсе приказчик наговорил про них всякое, убедил хозяйку, что непутевые они, ненадежные, смуту среди крестьян сеют. Убедил продать их, как раз часть долгов за этот счет погасить. Уж как я убивалась, как не верила, что может быть такое на белом свете. Родную кровь разлучать ни за что, ни про что. Помнишь ли, как это было? Ты тоже плакал горько, убивался. Старшие браться были тогда тебе ближе, чем я. Ты больше к ним тянулся, старался на них походить. И за раз их обоих у нас отняли. Сказали сухо, что продали помещику Сухонину в соседнюю губернию. Уж столько лет я пыталась выяснить, что с ними, как они теперь живут, хорошо ли с ними обращаются. Да без толку. Лишь спустя годы Петр Владимирович узнал для меня, что их зачислили в солдаты, участвовали они в походах, а в 53-ем ушли на войну и пропали без вести где-то в Крыму. Долго я не решалась сказать тебе об этом, за то не знаю, простил ли ты меня. Но я ведь о тебе думала, Феденька. Знала, что смерть братьев станет для тебя непростым испытанием. Ты и так от меня тогда отдалился. Стал неласков, ничего не рассказывал. Будто мы совсем чужие. Горько мне было от этого, Феденька, очень горько. Думала я, что совсем одна осталась на белом свете. Что нет у меня ни защиты, ни поддержки. Что и Бог меня не любит, что забыл он совсем про меня. Да и зачем ему про меня помнить? Поважнее у него дела есть, чем мои слезы.

Вспоминаю я то время сейчас, Феденька, и оно будто слилось в один печальный день. Я плохо помню, как жила тогда, что делала, с кем дружила. Меня как будто и не было, ходила я как тень. Думала только об одном, чтобы меня поменьше замечали. Работала до изнеможения, чтобы больше и не думать ни о чем. Исполнилось мне тогда 15 лет, стали на меня парни смотреть, как раньше не смотрели. А я и не понимаю, от чего так. Глаза прятала, разговоры ни с кем не заводила. Все мать вспоминала, делала все как она. Думала, что толку заглядываться на кого-то, коли выбор все равно будет не за мной. Видела, как у других девок судьба складывалась, как насильничали, как замуж выдавали без согласия, как они ревели, противились, да все без толку. Подруг у меня среди них не было, я только лишь со стороны наблюдала. Как они из веселых пышущих жизнью красавиц превращались в озлобленных дур, которые не понимают, зачем живут. И я решила, что лучше уж и не ждать ничего. Лучше тянуть свою лямку и принять судьбу, которая уготована. Ничего, кроме горькой доли, я не ждала. Лишь за тобой старалась присматривать. Оберегала тебя, как могла. Помнишь, какую я тебе рубашку вышила? С вороном на плече. Ворона помнишь? Он прилетал на двор к нам. Огромный, перья сверкают. Зачастил в кузне хозяйничать, больно нравились ему блестящие клещи. Да только вот тяжелые были, и никак не мог он их стащить. А ты все над ним потешался. Я приметила, что ворон тебе по душе пришелся, и решила подарок сделать – скопила ниток, за материю отработала и сшила тебе отменную новую рубаху, как раз к именинам. И когда ты увидел, что на вороте ворон вышит, ты аж просиял. Я помню твои глаза, Феденька, как они засветились. Как наполнились радостью, которой я не видывала уж много лет. И что-то во мне проснулось тогда. Что-то чистое. Надежда, думаю. На то, что все может еще случиться. Что должна быть и на моем веку радость. Надо только не опускать руки. Искать ее, не останавливаться.

В тот год хозяйка наша Наталья Сергеевна померла, Царствие ей Небесное. Не знаю, от хвори, или от старости, но приказчик сообщил, что имение переходит к наследнику. Сыну хозяйки Петру Владимировичу. Мы о нем только и слыхали, что есть такой. Но ни разу не видали его. Петр Владимирович то учился, то служил все больше по заграницам. В родном имении был только в младенческие годы, когда меня на свете еще не было. Все надеялись, что приедет новый барин, и все изменится. Жить станет легче, все будет по справедливости. Я сама, признаюсь, таких мыслей не имела. Не верила, что один человек может все изменить. Хуже сделать мог бы, лучше – навряд ли. В последний год Натальи Сергеевны я в господском доме начала прислуживать. Из старой одежды я выросла, и мне выдали новую. Этот момент и то, что я увидела в твоих глазах, Феденька, я восприняла так, будто кто-то подал мне знак. Что с этого начинается моя новая жизнь. И так оно и получилось.

Я была уверена, что сын хозяйки после заграницы приедет молодой, ветреный, осмотрится, заскучает и через неделю-другую уедет обратно или поселится в Петербурге. Или в крайнем случае в Москве. К его приезду в усадьбе появился новый человек – присланный Петром Владимировичем управляющий. Он начал вникать в дела, сразу вывел приказчика Натальи Сергеевны на чистую воду, но претензий предъявлять не стал, просто уволил. Управляющий начал на новый лад вести хозяйство, сразу заявил, что наказания телесные будут применяться только в крайних случаях, до которых просит всех дело не доводить. Отныне обещал стараться, чтобы все было по справедливости. Хозяйский дом стали ремонтировать, декорировать на новый европейский манер. Привезли новую мебель, картины. Инструмент музыкальный, какого я раньше и не видывала. Домик для гостей заложили, строительство бодро продвигалось. Управляющий начал отмечать мою аккуратность и давал все больше заданий. К приезду Петра Владимировича имение преобразилось, от старых порядков не осталось и следа. Я была слишком занята своими обязанностями и не помню теперь, как ты воспринял эти перемены. Чем ты был занят. Я заметила, что у тебя появились друзья из дворовых ребят, вы вместе работали на постройке гостевого домика, вместе чудили. Я радовалась за тебя, мне казалось, что и у тебя началась новая, более счастливая жизнь, и старалась не мешать.

Вначале в имение приехала новая хозяйка Елизавета Андреевна, жена Петра Владимировича. Болезная, бледная. Я заметила, что на ее лице не было совсем никаких эмоций. Говорила она мало и непонятно, потом мне сказали, что Елизавета Андреевна иностранка, плохо понимает русский. Все время сидела в саду, в тени, и читала. Это было основное ее занятие. Я прислуживала ей, приносила чай, помогала одеваться. Однажды она дала мне по рукам. Сказала, что у меня на ладонях слишком грубая кожа, которая ее больно царапает. И чтобы я всегда была в шелковых перчатках, когда одеваю ее. Я кивнула, ответила, что непременно так и сделаю. Но где мне было достать шелковые перчатки? И как о таком попросить кого-то? Но я все же исхитрилась. Когда меняли мебель, перетягивали подушки, чтобы все было в едином ансамбле, старые лоскуты не знали, куда девать и свалили в кучу в кладовой. Думали просто сжечь. Я про то вспомнила, ночью прокралась туда, перерыла кучу с ласкутами и нашла пару подходящих. До утра шила себе перчатки, и к часу, когда я должна была одевать Елизавету Андреевну, они были на мне. Все прошло гладко, хозяйка больше на меня не сердилась. Да и я была очень рада обновке, глаз не могла отвести от своих перчаток. Сама себе казалась краше и как-то значительнее, когда смотрела на свои руки в них. Но другие девушки, прислуживающие в доме, увидели у меня перчатки, стали шептаться и донесли на меня. Сказали управляющему, что я их украла. Что не было никогда у меня таких перчаток и быть не могло. Я в слезы, не знала, как оправдаться, как объяснить все. Ведь я действительно взяла, что мне не принадлежало, но если бы Елизавета Андреевна не попросила, у меня в мыслях такое никогда бы не появилось копаться в тех лоскутах. И в ту минуту отчаяния я увидела его – Петра Владимировича. Знаю, Феденька, тебе будет неприятно читать о нем, но что уж теперь поделать, коли он стал частью моей судьбы.

В тот год, когда мы встретились, Петру Владимировичу было почти сорок лет. Седина на висках, морщинки-паутинки вокруг глаз. Но нрав добрый, манеры обходительные. При первой нашей встрече я была в слезах. Как раз из-за той истории с перчатками. Он попросил все рассказать ему, как было. Я тогда еще даже не знала, что он – наш новый хозяин. Рассказать незнакомцу о том, что же произошло, оказалось просто. Я и сама не ожидала такого. С ним было легко, приятно. Он взял меня за руку, просил не волноваться, подал мне воды. Раньше ни одни человек не вел себя так внимательно, так ласково со мной. Ни один человек не слушал меня с таким искренним вниманием. Ни один человек не держал меня за руку так долго. Ни один! Когда я закончила рассказ, он уверил, что все разрешится, велел идти к себе, заняться делами и не думать о дурном. Я так и сделала. Ушла и лишь после поняла, что не спросила ни имени его, ни кто он такой. О том, что это новый хозяин имения я узнала потом. Узнала и обомлела. Минуты, проведенные с ним тогда, будто освободили меня. Меня кто-то понял. Прислушался ко мне. Впервые в жизни. Я думала, что я теперь не одна. И могу не бояться, не прятаться. Что я теперь другая.

От общения с Елизаветой Андреевной меня освободили, я стала заниматься только уборкой в доме, починкой вещей и другими мелочами. Я намеренно искала встреч с Петром Владимировичем, чтобы показать, как много для меня значила та наша встреча. Но он исчез. Уехал куда-то по службе, оставив жену одну. Говорили, что Петр Владимирович служил при Государе, много ездил по заграницам не просто из прихоти, но решая важные дела. Конечно, я в этом мало понимала. Но с нетерпением ждала, когда же он вернется. Когда смогу увидеть того, о ком стала думать больше, чем о любом другом за всю жизнь. Когда Петр Владимирович появился вновь, в имении устроили праздник. Такого у нас не было никогда. Приехали гости. Люди, с которыми Петр Владимирович имел знакомство по службе. Танцы, музыка, даже фейерверки. Для меня, да и не только, все это было, как во сне. Я помню, ты тоже светился счастьем, веселился. А уж когда закатили фейерверки, совсем с ума сошел. Пустился в пляс. Во что-то вы играли с друзьями на дворе. Тот день я не забуду никогда. День, когда я подумала, что нашла радость, что она навек останется со мной.

Петр Владимирович сразу меня узнал, как только мы вновь увиделись. Он помнил, как мы сидели вместе, как я рассказывала ему о своих перчатках, как плакала. Он помнил все, его забавляли мои маленькие горести. Он уверял, что слезы по таким пустякам не стоит лить. И если вдруг что-то подобное случиться, я должна сразу же идти к нему. Это было так странно, но я очень хотела, чтобы он сказал мне именно это. Своим спокойным голосом, глядя в глаза. За это я была готова для него на все. Он говорил, что сам чувствует нечто подобное. Что он одинок, что ему сложно кому-то открыться. Из-за своего положения, которое его ко многому обязывает. Я знаю, Феденька, что эти строки вызовут на твоем лице ухмылку. Но он действительно так мне говорил. Наши с ним беседы проходили часами по вечерам, когда засыпал весь дом. А мне тогда казалось, что и весь мир. Мы говорили обо всем. О том, как я жила в имении до него, какой я запомнила его мать. Как она обошлась с моими братьями. Я говорила ему все, как есть. Без страха. Я была уверена, что он все поймет. Что ему самому зачем-то нужно это знать. Он же говорил, что матери почти не помнит. Ни ее глаз, ни ее ласки. Его вырастили няньки, учителя, потом учеба, заграничные города. Так прошло детство. Тепла он не вдел. И в этом мы с ним более всего сошлись. Оказалось, что нам есть что разделить – нашу тоску по человеческому участию, по ласке материнской. Я никогда не думала, что человек из господского круга может тосковать по тому же, что и я. Брак с Елизаветой Андреевной тоже оказался неудачным, по его словам. Поначалу он влюбился до беспамятства, но после свадьбы оказалось, что они совсем чужие, что Елизавета Андреевна не может подарить ему детей.

Так проходили наши вечера. Неделя за неделей. Я знаю, что совсем забросила тебя. Мы редко виделись. А если и встречались, то урывками. Я так корю себя сейчас за это, поверь. Мне нет прощенья за то, что тогда я променяла тебя на него. Но Петр Владимирович меня буквально подчинил себе. И я позволила ему это. Я была счастлива тем, что он меня приблизил. Выделил из всех. Я думала, быть может, если он так хотел детей, то я смогу хотя бы отчасти заменить ему их. Он взял меня на воспитание. Нанял учителей. Выдал платья. Я обучилась грамоте и манерам, принятым в обществе. Он и с тобой ведь тоже пытался подружиться. Вспомни, Феденька. Какие он тебе подарки привозил из заграничных путешествий! Загляденье! У меня все никак из головы не идет фрегат, так, кажется, этот корабль назывался. Красавец. Ты с ним не расставался, хотя из детского возраста уж почти вышел. Боялся спускать его на воду по нашей речушке. Думал, вдруг упустишь, и кораблик твой пропадет. Пускал его только по воображаемым волнам, играя на берегу. Я и сейчас вижу тебя с тем кораблем. В мечтах о разных странах. Это ведь Петр Владимирович заразил тебя тогда подобными мечтами. Рассказывал тебе, как он плавал в Америку. Возил письма Государя тамошнему президенту – так там правитель называется. Что президент и Государь друзьями друг друга называют. Что все там по-другому. На земле все больше рабов используют. Я не могла понять, в чем же разница с простыми крестьянами у нас. Они ведь тоже спину гнут, а сами принадлежат хозяину. Петр Владимирович заявил, что я, мол, грамоте научена, но пока элементарных вещей не понимаю. Рабов привезли в Америку с чужих земель и силой принудили работать. А нас, крестьян, никто не принуждал, мы на своей земле в своем естественном обитании, как оно и должно быть. Перечить я не стала. Подумала тогда, что не жил он в крестьянской шкуре, в естественном обитании, по его словам. А если бы пожил, заговорил бы по-другому. Но что с барина-то взять? Барин и есть. Но согласись, именно после этих рассказов Петра Владимировича начал ты грезить о дальних странствиях, о путешествиях, о кораблях. И я так благодарна этому, потому как именно в то время мы с тобой снова сблизились. Ты просил меня замолвить перед Петром Владимировичем словечко за тебя. Делился своими мыслями о том, что может быть есть хотя бы какая-то возможность тебе поехать с ним в следующий раз. Ты был согласен на любую работу, даже чистить отхожие места. Лишь бы увидеть другой мир воочию. Я, признаюсь, ни разу в Петром Владимировичем не говорила на твой счет. Я не хотела использовать нашу с ним дружбу в корыстных целях, ведь он и так много сделал для нас с тобой. Тебе я отвечала, что не подвернулся случай. Что Петр Владимирович занят, что возможности пока что нет. Я чувствовала себя предательницей, но не могла себя заставить попросить. Но с другой стороны – не могла лишить тебя надежды. Я оказалась между двух огней, и это сильно мучало меня. До тех пор, пока все не разрешилось трагичным образом.

Я стала замечать, что силы начали покидать меня. Все стало валиться из рук. Я сделалась нервная, плаксивая, все пропускала мимо ушей. Не знала, что со мной. Появилась дурнота. Такая, аж до беспамятства. Петр Владимирович распорядился, и мне вызвали врача. Это был первый раз, до того ни разу я не посещала докторов. Не знала, как себя вести. Что говорить, что делать. Он осмотрел меня в той самой кладовой, где я рылась в лоскутах, из которых после сшила перчатки. Нахмурился и вышел, ничего мне не сказав. Я не знала, что и думать. Но после его осмотра мне стало легче, я вернулась к своим делам. Думала, что вот, какой же чудесный доктор. Ничего мне не сказал, а вылечил. Но после Петр Владимирович начал как-то странно себя вести со мной. Сторониться. Да и многие из тех, кто служил в доме, начали смотреть косо, шептаться за спиной. Будто знали обо мне что-то, чего я сама не знаю. Я начала думать, что я все же больна, причем серьезно. Что врач просто решил не расстраивать меня. Скрыл истинный диагноз. Поэтому меня все сторонятся. Мои подозрения подтвердились, когда Петр Владимирович заявил, причем достаточно холодно, что я теперь буду жить в отдельной комнате в домике для гостей, который ты строил собственными руками. Который давным-давно был готов, полностью меблирован, но пустовал. Гости последнее время приезжали в имение нечасто. Я не стала спорить. Нехитрые вещи мои перенесли, я и глазом моргнуть не успела. Приставили ко мне Глашу, рябую дворовую девушку на два года меня старше. Она со мной почти не говорила, приносила еду из основного дома, забирала вещи стирать. Мне ничего делать не разрешала. Говорила, так распорядился Петр Владимирович. Я не понимала, что происходит. Единственная мысль была – что умру я скоро. И что это Петр Владимирович по доброте душевной решил мне напоследок барскую жизнь устроить. Чтобы я запомнила эту землю с лучшей стороны, пожила вволю перед тем, как на том свете окажусь. Смирившись с этой мыслью, начала я почти монашеский образ жизни вести. Молилась много, почти не ела. Думала, очиститься надо ото всего, перед тем, как пред Богом предстану. Единственное – тебя хотела увидеть напоследок. Стала просить Глашу, чтобы привела она тебя. Хотя бы просто к дому, чтобы я тебя издали увидела. А она ни в какую. Не велено, говорит, и все тут. Я уж и так, и эдак уговаривала. Но все без толку. И такая тоска меня взяла при мысли что все, больше ничего не будет. Так и уйду я, ни с кем не простившись. Совсем мысли черные в голову полезли, сама себя заперла, от всего мира отгородилась, начала конца ждать. И вот тогда Глашка не выдержала. Точнее не так. Наказали ей, объяснить мне, дуре, что к чему. Залезла она ко мне в комнату через окно, да давай поносить меня последними словами. Что я совсем безмозглая. Баба я вообще или кто? Как до такого додуматься вообще можно было? Давай меня по щекам хлестать, кормить меня насильно. И вот от Глашки-то я все и узнала, поняла, наконец, что к чему.

Со мной же никто в жизни об этих делах не заговаривал. Как там мамка с отцом жила – откуда ж я знаю. Видела что-то иногда, когда в отхожее место проснусь среди ночи. Стонут себе за занавеской, возятся, вот и все мои знания. Девки рассказывали всякое, что приставали к ним, бывало насильничали. А как что – никто ведь не говорил. Стыдно. Мне и сейчас стыдно об таком писать, хотя столько лет уж прошло. Да и мало ли кому письмо это попадет в руки. Да только объясниться перед тобой надо. Из-за меня ведь ты сгинул, Феденька, из-за моей дурости. Лаской меня взял Петр Владимирович, понимаешь? Это не было похоже ни на что, о чем бабы рассказывали. Была одна сплошная радость. Трепет перед ним. Я думала, благодать на меня снизошла в его облике. Грешно так говорить, но это правда. Тогда я в это верила. Пятнадцать годков мне было, когда у меня первый раз это случилось с ним. Знаю, девки и того раньше рожают. Но я-то дикая была почти, никому до того даже не улыбалась, не то что там миловаться как-то. Что ты! Я ж по первости вообще ничего не поняла ведь. Он говорил мне, что ему со мной хорошо. Что это со всеми людьми бывает, когда им друг с другом хорошо. Я и верила. И никому об том не говорила. Думала, расскажу, и все кончится. Наша с ним теплота. Наши разговоры по душам. Я даже как-то не заметила, что он по сути стал жить со мной, как с женой. Вечерами в доме пусто было. Он всех отправлял. Жена жила в своем крыле, и из него практически не выходила. А потом вон что оказалось, ребеночка я под сердцем прижила.

Долго я Глашке не верила. Она говорила, что все имение уж знает. Что все называют меня гулящей. Поносят меня. Мол, пригрелась возле барина при живой жене. Что и сама Глашка ко мне приходить брезгует, да делать нечего. У меня не укладывалось все это в голове. Только одному человеку я могла поверить – тебе, Феденька. Но Глашка сказала, что ты сначала на Петра Владимировича с топором полез, высекли тебя за это. Но дальше дело не пошло, Петр Владимирович все же человек великодушный. А потом, когда тебе получше стало, как только на ноги встал, пустился в бега. И ни слуху, ни духу о тебе уже недели две. Как только я об этом узнала, у меня горячка началась. Не знаю, сколько пролежала без памяти. Помню, доктор ко мне приходил. Тот самый, который в кладовке осматривал. Самого Петра Владимировича помню с серьезным лицом, такого я у него раньше не видела. Да и Глашка все надо мной охала. Выхаживала. Видать, жалкой ей меня стало. Потом говорила, что не обо мне пеклась, а о невинной душе, которую я носила. Ребенок, мол, не виноват, что у него такая мать оказалась. Из гостевого дома мне не положено было выходить. Сторож Афанасий был за это в ответе, караулил меня. Но однажды ночью мне все же удалось ускользнуть, вышла я через сад на общий двор. Надеялась, что все это сказки, что ты, Феденька, спишь сладким сном на своем месте. Что приду я сейчас, разбужу тебя, ты разозлишься, может даже ударишь пару раз, но ты никуда не делся. Все еще здесь, со мной. Но тебя не было. На твоей лежанке храпел какой-то толстый мужик, воняющий потом. От этого резкого запаху у меня все нутро вывернуло наружу. Так я разбудила избу, где ночевали мужики. В ночной сорочке, босая, с животом. Большего стыда я никогда не испытывала. Но самое страшное было не это, а то, что твой побег оказался правдой. Тебя там не было, Феденька. И я не знала, где ты. Единственный мой родной человек на всем белом свете. Ты сбежал от меня. Из-за меня. Это я была виновата в том, что нет у тебя теперь угла. Что тебя могут поймать и даже убить, как беглого. Это была моя вина.

До родов Петр Владимирович пришел ко мне всего один раз. Он вел себя так, как будто это и не он вовсе. А его тень. Злой двойник, посланный мне в наказание. Он заявил, что раз уж так случилось, мне надо выйти замуж. Что он выбрал для меня Степку. Недавно овдовевшего мужика, в два раза почти старше меня. Что для меня так будет лучше сейчас. А как дальше – будет видно. И ушел. Как свадьба прошла, толком не помню. Привезли меня в церковь, почти уж ночь была. Там уж батюшка ждал и этот Степка. Я подумала тогда, что Степка этот тоже был в той избе, когда я приходила тебя искать. Лицо запомнила. Взгляд острый, с прищуром. Такой же и в церкви был. Обвенчались. Свидетелей не было. А после меня отвезли обратно, в гостевой дом. Там же, спустя два месяца, я родила сына. Здорового, красивого мальчика. Его сразу от меня забрали. Младенцем я видела его только тогда, когда он появился на свет. Второй родной мой человек покинул меня. И во всем я винила только себя, Феденька. Если бы я вела себя по-другому, если бы была не такая забитая жизнью, может и сложилось бы все у меня не так. И ты остался бы со мной. И муж бы у меня был по любви, и дети. Но чего уж теперь горевать о том, чего нет и не было никогда…

Переселили меня в общую избу, нам со Степкой выделили угол, стали мы жить. Петр Владимирович из имения уехал, забрав с собой нашего сына. Мне потом передали, что назвал он его Александром, в честь деда. Красивое имя. Я бы до него не додумалась. В имении осталась жена его Елизавета Андреевна. Поле всего, что случилось, она изменилась. Озлобилась. Стала наводить свои порядки. Меня терпеть не могла. В доме я больше не работала. Определила она мне самую черную работу – на скотном дворе да в поле. Ровно то, что мамка моя делала, Царстве ей Небесное. Я в сущности и рада была. За день измотаешься так, что себя не помнишь. Некогда о жизни думать, о том, за что все так сложилось, чем я заслужила. Степке моему тоже доставалось. Просто потому, что он на мне женат был. Детей от него Бог мне так и не дал. И всю свою злобу, все возмущение несправедливостью Степка вымещал на мне. Бил меня страшно. И когда трезвый, и когда выпивший. Совсем я очерствела, Феденька, от такой жизни. Ты бы меня и не узнал теперь, кабы увидел. Единственным теплым человеком для меня стала Глаша. Сначала поносила она меня, как и все. А потом как-то прониклась. Жалко ей меня стало. Она одна знала наверняка, как оно все было. Через нее я хоть какие-то новости начала узнавать. Что Перт Владимирович сына не оставил, поселил у себя в Петербурге. Что Саша живет на всем готовом, у него лучшие учителя. Да так хорошо рассказывала всегда Глашка, что я вставать по утрам стала только ради этих ее рассказов. Больше мне жить было незачем. Правдивые они были или нет, мне было без разницы. Они хоть как-то освещали мою жизнь. Тусклым рассеянным светом, но освещали.

А недавно Глашка рассказала мне, что ты жив. Но судьба занесла тебя ой как далеко – на Аляску. Будто бы там обосновались смельчаки со всей России, моют золото да счастья ищут. Как же я хочу, Феденька, чтобы это была правда. Молю Бога за тебя я каждый день. За тебя и за сына Сашеньку. Должно же и нам повезти когда-нибудь. Должна же радость прийти. Я свою порцию получила, да больно горькой в итоге она оказалась. Теперь надеюсь, что у тебя все сбудется. Год назад Государь Император наш волю всем даровал. Непросто это оказалось, вольным-то быть человеком. Самому за себя быть в ответе. Решать да выбирать. Муж мой Степка помер. Померла и Елизавета Андреевна. Бог прибрал, освободил меня от них разом. И я решилась в город податься, в Петербург на заработки. Останавливать меня никто не стал. Толку от меня стало чуть на дворе, так что отпустили меня, полагая, наверное, что сгину я одна, пропаду совсем. Но нет, Феденька, не намерена я сдаваться. Перво-наперво хочу отыскать сына. Посмотреть на него хотя бы одним глазком. Хоть издали. Увериться, что рассказы Глашки не выдумка. Не сказки. Близко к нему не подойду. Он ведь и не знает, кто я есть. Может Петр Владимирович не рассказал, что по матери он крестьянский сын. Так и правильно, я так считаю. Крестьянскому сыну во все времена плохо на Руси живется. Не знает, и ладно. Может и устыдился бы меня, если бы узнал, увидел, какая у него мать. Но мне бы хоть одним глазком…

А как исполнится это, останется мне лишь одно – тебя найти, Феденька. Может и вся жизнь у меня на это уйдет, того никто не знает. А все же надежда есть у меня. Сердце говорит, что свидимся мы с тобой. Посылаю я письмо это, да адреса толком не знаю. Может обогнет оно всю Землю, а может затеряется в соседней губернии. Однако знай, Феденька, что я, сестра твоя старшая, отправляюсь в дорогу. Может не ты, а кто-нибудь другой, хороший человек, живущий на этом свете, получит письмо это и будет знать, что живет такая Анна Рудова, которая вознамерилась искать радость всю свою жизнь, до конца.

Ноябрь, 2020